

она живет. Да, сказал мальчик, но она спит. Он потянул на себя дверь, но узконосый ботинок не дал ему затворить ее.

Незнакомец сказал:

— Я только что с парохода. Нельзя ли... Меня направила к сеньоре одна ее хорошая знакомая.

— Она спит, — повторил мальчик.

— Может, ты вступишь меня? — сказал незнакомец со странной, испуганной улыбкой и, понизив голос, шепнул: — Я священник.

— Священник? — воскликнул мальчик.

— Да, — тихо сказал он. — Меня зовут отец... — Но мальчик широко распахнул дверь и припал к его руке, не дав ему назвать себя по имени.

Роман «Сила и слава» появился в 1940 году. Незадолго до этого (1938) писатель побывал в Мексике; то, что он увидел и услышал, потрясло его — так много достоинства и нищеты, жестокости и надежды.

Страна была полна памятью о драматических событиях 20-х — начала 30-х годов, когда антиклерикализм, устремившийся в экстремистское русло, и насчитывавшая несколько веков католическая традиция стояли друг против друга в конфликте, ничем не смягченном и не опосредованном, хотя конфликт этот был только одной из граней мучительной исторической ломки, которую переживала Мексика. (Необходимые справки о реалиях политической истории даны в примечаниях к роману.) Грина интересовала не история классов, общественных групп, партий, а история людей — складывавшаяся в определенных условиях человеческая атмосфера, которая, оставаясь очень конкретной, могла бы в то же время послужить материалом для художественного пересоздания, для творимой им притчи. (Характеризующая роман притчеобразность подчеркнута, в частности, такой внешней чертой, как почти полное отсутствие имен.) Все было обнажено, и все, решительно все было не так, как пожелал бы представить себе человек, никогда не видавший такой жизни.

По собственным признаниям, Грин всегда любил и до сих пор любит искать далеко от Европы образы того, с чем европейцу еще только предстоит столкнуться в собственном опыте. Тогда было именно так: на Европу надвигался фашизм, начиналось время, когда любому убеждению, любой вере и вообще человеческой позиции предстояло практически проверить себя на крепость в экстремальных условиях. И странный роман был написан, чтобы вызывать у читателей и специально у единомышленников католика Грина самые противоречивые реакции (как напомнил недавно писатель в интервью, данном «Литературной газете», его книга была включена в Индекс запрещенных книг при Пии XII, а Павел VI не только снял запрет, но сообщил автору, что это его, папы, любимая книга...).

Подумать только, что всего за тридцать лет до этого, в 1910 году, вышел в свет другой роман, написанный тоже большим английским писателем, тоже католиком — Г. К. Честертоном. Тот, давний, роман назывался «Шар и крест»; в нем благородный католик вызывал на дуэль не менее благородного атеиста, один рвался обнажить шпагу за честь бога, другой — за честь человека, но погрязшее в индифферентном миролюбии общество никак не давало им это сделать. Они изыскивали возможность все-таки сойтись в поединке, а покуда проводили время в том, что спорили, спорили, спорили... До чего же двадцатый век — «не календарный», как сказано в русских стихах, — все изменил. Вот снова перед нами два антагониста, один стоит за бога, освобождающего человека, другой — за человека, освобожденного от бога, и оба — люди не то чтобы «благородные», это старомодное слово тут неуместно, но, во всяком случае, смертельно искренние, идущие в своей убежденности до конца; до чего они, однако, не похожи на честертоновских рыцарей правоверия и вольномыслия! Один — небри-



#### ВОЛЖИНА НАТАЛЬЯ АЛЬБЕРТОВНА (1903—1981)

Выдающийся мастер советского художественного перевода. Ею переведены романы «Лавка древностей» Ч. Дикенса, «Овод» Э. Войнич, «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя (совместно с Е. Д. Калашниковой), «Гроздь гнева» Дж. Стейнбека, «Наш человек в Гаване», «Ценой потери», «Комедианты» Г. Грина, произведения М. Твена, Дж. Лондона, Дж. Болдуина и многих других классиков англоязычной литературы и современных писателей.

тый, опустившийся, вконец затравленный бродяга вне закона; священник, но священник на редкость «недостойный», алкоголик, которому случилось в минутном тумане опьянения и тоски нарушить обет целомудрия и зачать ребенка, любимого с безнадежной, неизбывной отцовской нежностью; к перспективе смерти за веру он относится без тени бодрого энтузиазма — и все же один остается в крае, покинутом всем духовенством, остается просто потому, что кому-то нужен. Другой — лейтенант, невесело, но упорно охотящийся за первым, как за вредным насекомым, которое необходимо во что бы то ни стало раздавить, чтобы ликвидировать заразу и дезинфицировать страну для будущих поколений. Вместо дуэли — скучная обыденщина расстрела; вместо шпаги, так и не пущенной в дело, — не раз пущенный в дело револьвер лейтенанта, на который в финале упадет плевком мальчишки (заметим эту деталь). И главное — никакого красноречия, никаких метафизических аргументов, никакого состязания парадоксов и глубокомысленных метафор. Слова стали почти что невозможны. Ну, обругает лейтенант классовую сущность церковной благотворительности, а священник невразумительно ответит: «Как вы правы!.. И конечно, неправы». Разве это словесный турнир? Да любая фраза из настоящего диспута здесь все испортила бы. Сила бессильного гриновского героя — именно в том, что он не аргументирует, не защищается, не обличает своего «гонителя», а разве что с неуместной доверительностью, как будто своему, открывает ему, этому «гонителю», важные для себя (и для Грина) мысли. Да, еще он сознается лейтенанту в самом смешном, самом ребяческом из мотивов своего отказа от бегства: до чего ему было сладко, когда коллега-священник, всегда распекавший его за слабость характера, бежал и тем самым оставил его в покое. Он меньше боится гибели, чем лишней встречи с этой нагнавшей на него страху сильной личностью. Кто же сознается в чем-нибудь подобном, да еще перед лицом своего антагониста? А на расстрел он выйдет с беспомощным «простите». В остальном же — что уж тут говорить? Одно ясно — дело решается не словами.

Вопрос, который читатель сохраняет право задать: почему все-таки писатель доверяет свои святыни герою с болезненно пораженной волей и душой глубокой, но смутной и, так сказать, растрепанной? Разве внутренняя стройность перестала быть благом, и окончательно ли доказано, что она перестала быть возможным благом? Но такой вопрос относится не только к этому роману, а ко всему творчеству писателя, для которого, по-видимому, органичен только один способ утверждать — от противоположного. Дающие всему смысл «силу» и «славу» он умеет показать лишь через предельно бессилие и бесславие того человека, который вводит их в мир людей. Сила — в немощи; иначе ни Грин, ни читатель, ради которого он пишет, просто не поверят в ее реальность. Немошь должна быть явной до невыносимости.

Когда читаешь Грэма Грина, по контрасту не раз вспоминается сакраментальное слово, которое с такой жадностью и с такой тоской повторял Подросток у Достоевского, — «благообразие». Так вот, специальность Грина — мир, в котором благообразия нет как нет. Это становится еще очевиднее, когда встретится изредка оскорбительная пародия на благообразие — неживая, «безблагодатная» правильность. Люди, несущие в себе этот род правильности, как добродетельная сеньора, умучивающая своих детей набожным чтением, или другая дама в этом же роде, которая, попав в тюремную камеру, так брезгливо косится на менее респектабельных товарищей по несчастью, — хуже всех, да и несчастнее, жальче всех, хуже всех — потому, что отделили себя от конкретной человечности, жальче всех — потому, что обрекли себя жить в выдуманном мире, мире фикций. А благообразия нет. Спросите чего другого. Мы первый раз видим героя глазами зубного врача, чей профессиональный взгляд выделяет рот, полный гнилых зубов. Последний раз мы его видим теми же глазами под аккомпанемент стонов, несущихся из зубоврачебного кресла. Эпитафией ему звучат повторяющиеся, как рефрен, слова ребенка: «От него очень странно пахло».

Само по себе это ничуть не примечательно: чем, а отсутствием благообразия современного всемирного читателя не удивишь еще с тех давних пор, как за четверть века до романа Грина ему, читателю, было открыто влиятельнейшим законодателем вкуса, что самое подходящее сравнение для вечера, мреющего в небесах, — пациент под хлороформом на столе хирурга (хрестоматийные стихи Т. С. Элиота, напечатанные в 1915 г.). Куда ни глянь — везде антигерои, снижающие подробности, хаотические переживания на фоне тоскливой обстановки, — это все панорама знакомая, даже чересчур знакомая: борьба против условной красоты давно привела к условному безобразию. Однако у Грэма Грина нечто иное, присущее именно ему. Во-первых, он ведет отчет о своем неблагообразном мире в такой интонации, которую трудно определить, но невозможно ни с чем спутать. Скажем для начала, чего в этой интонации нет. В ней нет сарказма и нет истерических взрывов, но нет также нарочитого, неживого спокойствия отстраненности и отчужденности, которые внушали бы читателю мысль, будто рассказывает не человек, а какое-то «дегуманизованное» существо. Во-вторых, Грин определенно любит своих неблагообразных персонажей, любит их, что называется, «черненькими», однако именно любит, а не просто жалеет (и не делает предметами извращенного любования); вообще не глядит на них сверху вниз. Атмосфера человеческого равенства между персонажами, с одной стороны, автором и читателем, с другой стороны, — один из самых симпатичных моментов творческой позиции Грина. Поясняя эту позицию, поэт У. Х. Одэн замечал: «Чувствовать сострадание к людям — значит уравнивать себя с ними; жалеть их — значит ставить себя над ними» (перевод В. В. Библихина), — это сказано к тому, что Грину свойственно первое, а не

второе, и Оден, в общем, прав. Все персонажи романа — люди, дела их — дела человеческие, а потому серьезные, на сколь бы непрезентабельном фоне они ни совершались.

Нет ни малейшей возможности не принимать всерьез ни «пьющего падре» с его неумолимой правдивостью, с его неожиданно тонким умом, развитым выслушиванием исповедей и испытанием собственной совести, а главное — с его жертвенной судьбой, но также с его бессилием и бесславием, служащими той «силе» и той «славе», в которые он так застенчиво и твердо верует, ни его антагониста, мрачного и бескомпромиссного доктринера-народолюбца, фигуру в высшей степени трагическую. Оба они, каждый на свой лад, — люди «не от мира сего», отдающие себя, забывающие себя.

О детях, занимающих в романе исключительно важное место, и говорить нечего — кто же способен не принять всерьез их? Чего стоит невыносимо осуждающий взгляд маленькой Бригитты или плевков подростка в конце романа! Есть в романе, конечно, и люди жалкие — падре Хосе, метис; но именно потому, что оба — такие «презренные», презирать их — дело совершенно несообразное, все равно что бить лежачего или потешаться над слабоумным.

Остается, конечно, вышеназванная безупречная особа, о которой мы только что говорили, что она в перспективе сознания писателя выглядит хуже всех и жалче всех. Так-то оно так, герою куда легче духовно соединиться с разношерстной шпаной, до отказа наполняющей тюремную камеру, смердящей и без всякого стыда развлекающейся по углам на свой манер, чем с этой благородной страдальницей за веру, которая, впрочем, очень легко обрекает в своих мыслях незаконнорожденную дочь на ненависть к родному отцу, а «недостойного» священника — на гибель. (Не так ли Христос, чье дело в сознании собственного достоинства представляет на земле «пьющий падре», кротко беседовал с пропащими девицами и еще более пропащими сборщиками податей, серьезно отвечал Пилату — представителю безбожной римской власти, однако бывал куда менее доступен для фарисеев — самых что ни на есть безупречных людей своего века?..) И все-таки набожную сеньору тоже приходится принимать всерьез: ей не откажешь в самоуважении, в верности и твердости, — это не христианские добродетели, как она воображает, но это, пожалуй, настоящие языческие доблести. Она не человечна, но она человек, а не карикатура на человека.

Ну, а шпана — можно, конечно, в оторопи спросить, как спрашивает от неожиданности герой: «Кто эти люди?» — получая в ответ насмешливое: «Ты что, никогда в тюрьме не сидел?» В общем, сержант, кажется, сказал правду: «Здесь все хорошие». Не шутка — ведь ни один из этих очень бедных людей, притом вовсе не расположенных к духовным особам («...во всем виноваты священники...»), не хочет польститься на вознаграждение и выдать своего товарища по несчастью. «Кому здесь нужны их поганые деньги?», — свет этих слов светит и в зловонной, невыносимо жаркой тьме камеры.

Однажды Грэма Грина спросили: «Вы изображаете таких нравственно падших людей, что есть, кажется, основание видеть в вас самого черного пессимиста?» — «Как, это я-то пессимист? — отозвался писатель. — Напротив, я утверждаю, что мне присущ совершенно безудержный оптимизм». Внимательный читатель, надо надеяться, почувствует этот оптимизм в публикуемом ныне по-русски романе, который наконец-то — лучше поздно, чем никогда, — нашел путь к нашему читателю. Возможно, оптимисты правы — также и в том, что касается судеб романов.

С. АВЕРИНЦЕВ